**Ради чего мы во Вьетнаме**

Стивен Кинг

Когда кто-нибудь умирает, вспоминаешь прошлое. Вероятно, Салл знал это уже годы и годы, но в четкий постулат эта мысль сложилась в его мозгу только в день похорон Пейга.

Прошло двадцать шесть лет с тех пор, как вертолеты забрали последний груз беженцев (некоторые фотогенично болтались на полозковых шасси) с крыши посольства США в Сайгоне и почти тридцать с тех пор, как Хьюи эвакуировал Джона Салливана, Уилли Ширмена и, может, еще с десяток других из провинции Донг-Ха. Салл-Джон и парень из его детства, вновь магически обретенный, были героями в то утро, когда вертолеты рухнули с неба, но ближе к концу дня они стали чем-то совсем другим. Салл помнил, как лежал на вибрирующем полу Хьюи и кричал, чтобы кто-нибудь убил его. Он помнил, что Уилли тоже кричал. «Я ослеп, — вот что выкрикивал Уилли. — Иисусе, бля, я ослеп!»

Мало-помалу ему стало ясно — пусть кишки свисали из его живота серыми петлями, а от яиц осталось не так уж много, — что никто не сделает того, о чем он просит, а сам он не осилит. Во всяком случае, так скоро, как его устроило бы. А потому он попросил, чтобы кто-нибудь прогнал мамасан. Хоть это-то они сделать могут? Высадите ее, да просто, бля, вышвырните, а что? Она же все равно мертвая, верно? Дело в том, что она смотрит и смотрит на него, а хорошенького понемножку.

К тому времени, как они сдали его, Ширмена и полдесятка других — самых тяжелых — медикам на эвакопункте, который все называли Пипи-Сити (вертолетчики наверняка до смерти были рады от них отделаться — из-за всех этих воплей), до Салла начало доходить, что никто не видит, что старенькая мамасан сидит на корточках в кабине, старенькая седая мама-сан в зеленых штанах и оранжевой блузе и дурацких ярко-красных китайских туфлях — уух! Старенькой мамасан назначил свидание Мейлфант, старина мистер Шулер. Раньше в этот день Мейлфант выскочил на поляну, как и Салл, и Диффенбейкер, и Слай Слоуком, и остальные, и наплевать, что косоглазые лупили по ним из зарослей, наплевать на жуткую неделю минометов, и снайперов, и засад — Мейлфант рвался в герои, и Салл рвался в герои, и вот теперь только поглядите! Ронни Мейлфант — грязный убийца; парень, которого Салл так боялся в детстве, спас ему жизнь и ослеп, а сам Салл лежит на полу вертолета, и ветер покачивает его кишки. Как твердил Арт Линклеттер, это только доказывает, до чего смешны люди.

«Кто-нибудь, убейте меня! — кричал он в тот яркий жуткий день. — Кто-нибудь, пристрелите меня, Бога ради, дайте мне умереть!»

Но он не умер. Врачи сумели спасти одно из его изуродованных яичек, и теперь выпадали дни, когда он более или менее радовался тому, что жив. Такое чувство у него вызывали закаты. Он любил выходить на задний двор, куда отгонялись подержанные машины, взятые в обмен, но еще не отремонтированные, и стоя там, глядел, как заходит солнце. Блядство, конечно, но все равно хорошо.

В Сан-Франциско Уилли оказался в той же палате и часто сидел с ним, пока начальство в мудрости своей не перевело старшего лейтенанта Ширмена куда-то еще. Они часами толковали о старых деньках в Харвиче и об общих знакомых. Один раз их даже снял фотокорреспондент АП — Уилли сидит на кровати Салла, и оба хохочут. К этому времени зрение Уилли получшало, но в полный порядок не пришло; Уилли признался Саллу, как боится, что оно навсегда испорчено. Статья при фотографии была самой идиотской, письма на них так и посыпались. Больше, чем они могли прочесть. Саллу даже пришла дикая мысль, что среди них найдется весточка от Кэрол, но, конечно, он ничего не получил. Была весна 1970-го, и Кэрол Гербер, без сомнения, курила травку и сосала хиппи «кончай войну!» в дни, когда ее старый школьный друг лишился яиц на другой стороне земного шарика. Верно, Арт, люди смешны. А еще: мальчишки и девчонки способны такое сказать!

Когда Уилли исчез, старенькая мамасан осталась. Старенькая мамасан все время была рядом. В течение семи месяцев в Ветеранском госпитале в Сан-Франциско она навещала его каждый день и каждую ночь — самая постоянная его посетительница в это нескончаемое время, когда весь мир словно провонял мочой, а сердце у него болело, как воспалившийся зуб. Иногда она являлась в муумуу, будто распорядительница в каком-нибудь занюханом луау, иногда приходила в паршивой юбочке-гольф зеленого цвета и безрукавке, полностью открывавшей ее тощие плечи и руки.., но чаще всего она была одета так, как была одета в тот день, когда Мейлфант убил ее, — зеленые штаны, оранжевая блуза, красные туфли с китайскими иероглифами на них.

В то лето он как-то развернул сан-францисскую «Кроникл» и увидел, что всю первую страницу заняла его прежняя подружка. Его прежняя подружка и ее дружки-хиппи убили в Данбери сколько-то там молодых ребят и представителей компании, предлагавшей им работу. Его прежняя подружка была теперь «Красная Кэрол». Его прежняя подружка была теперь знаменитостью. «П... а ты, — сказал он, когда газета сперва сдвоилась, потом строилась, потом смялась в призмы. — Безмозглая блядская П... а». Он уже превратил газету в ком и хотел швырнуть ее через всю палату, но его новая подружка, но старенькая мамасан сидела на соседней кровати и смотрела на Салла своими черными глазами, и, увидев ее, Салл окончательно сломался. Когда пришла сестра, Салл не то не мог, не то не хотел объяснить ей, почему он плачет. Он знал только, что весь мир спятил, а ему нужен укол, и в конце концов сестра нашла врача, который сделал ему укол, и последнее, что он видел перед тем, как провалиться, была мамасан, старенькая блядская мамасан на соседней кровати — сидит, сложив желтые руки на зеленых полистироловых коленях, сидит и смотрит на него.

Вместе с ним она проехала через всю страну, проделала с ним весь путь до Коннектикута, напрямик через проход турист-класса лайнера 747 «Юнайтед Эрлайнз». Она сидела рядом с бизнесменом, который не видел ее, как не видели вертолетчики Хьюи или Уилли Ширмен, или медперсонал «Дворца Кисок». Ее взял в подружки Мейлфант в Донг-Ха, но теперь она стала подружкой Джона Салливана и ни на миг не отрывала от него взгляд своих черных глаз. Ее желтые морщинистые пальцы постоянно оставались сплетенными на ее коленях, взгляд ее глаз постоянно оставался на нем.

Тридцать лет. Черт, срок долгий.

Но пока проходили эти годы, Салл видел ее все реже и реже. Когда осенью семидесятого он вернулся в Харвич, он все еще видел старенькую мамасан, примерно каждый день — ел ли сосиску в Коммонвелф-парке у поля Б или стоял у железной лестницы, ведущей к железнодорожной платформе, где кишели прибывающие и отбывающие пассажиры, или просто шел по Главной улице. И всегда она смотрела на него.

А когда он получил свою первую послевьетнамскую работу (естественно, по продаже машин, ведь только это он и умел делать по-настоящему), то вскоре увидел старенькую мамасан на переднем сиденье «форда» 1968 года с «ПРОДАЕТСЯ» на ветровом стекле.

«Со временем вы начнете ее понимать», — сказал ему в Сан-Франциско чистильщик мозгов, и как Салл ни настаивал, ничего толком к этому не добавил. Чистильщик хотел послушать про вертолеты, которые столкнулись и рухнули с неба, чистильщик хотел знать, почему Салл так часто называет Мейлфанта «этим карточным мудилой» (Салл отказывался ответить); чистильщик хотел знать, бывают ли еще у Салла сексуальные фантазии, а если да, так не играет ли в них большую роль насилие. Саллу даже нравился этот парень — Конрой была его фамилия, — но факт оставался фактом: был он жопа. Как-то раз, незадолго до его отъезда из Сан-Франциско, он чуть было не рассказал доктору Конрою про Кэрол. В целом он был рад, что удержался. Он ведь даже не знал, как ему ДУМАТЬ о своей школьной подружке, а уж тем более говорить о ней («спутанность» — было словечко Конроя для его состояния). Он назвал ее «безмозглой блядской п... ой, но ведь весь чертов мир в эти дни был блядским, верно? А уж если кто-то и знал, как легко жестокая агрессивность вырывается из-под контроля, так в первую очередь Джон Салливан. Уверен он был лишь в одном: он надеялся, что полицейские не убьют ее, когда доберутся до нее и ее друзей.

Жопа не жопа, а доктор Конрой не так уж ошибался, говоря, что со временем Салл поймет старенькую мамасан. Самым главным было понять — нутром понять, — что мамасан здесь нет. Головой понять труда не составляло, но вот нутро у него упиралось, возможно, оттого, что его нутро выпотрошено в Донг-Ха, а такие штучки не могут не замедлить процесс понимания.

Он взял почитать несколько книг у доктора Конроя, а библиотекарь в госпитале достал ему еще парочку по межбиблиотечному абонементу. Из книг следовало, что старенькая мамасан в ее зеленых штанах и оранжевой блузе — это «выведенная вовне фантазия, которая служит облегчающим механизмом, который помогает ему преодолевать «вину оставшегося в живых» и «синдром посттравматического шока». Другими словами, она ему мерещится.

Но каковы бы ни были причины, его отношение к ней изменялось по мере того, как ее появления становились все более редкими. Теперь, когда она возникала, он при виде нее вместо отвращения или суеверного страха испытывал что-то похожее на радость. Ну, то, что чувствуешь, когда видишь старого друга, который уехал из родного городка, но иногда приезжает ненадолго погостить там.

\* \* \*

Теперь он жил в Милфорде, городке, отстоящем от Харвича миль на двадцать по шоссе 1–95 и на много световых лет в разных других отношениях. Харвич, когда Салл жил там в детстве и дружил с Бобби Гарфилдом и Кэрол Гербер, был приятным пригородом с обилием деревьев. Теперь его родной городок стал одним из тех, куда по вечерам не ездят, — закопченным придатком Бриджпорта. Он все еще проводил там большую часть дня — на складе или в салоне («Салливан шевроле» уже четыре года подряд было золотозвездным предприятием), но обычно уходил в шесть часов вечера, а уж в семь наверняка, и ехал на север в Милфорд в своем демонстрационном «шевроле каприс». Обычно он уезжал с неосознанным, но очень подлинным ощущением благодарности.

В этот летний день он поехал от Милфорда по 1–95 на юг, как обычно, но в более позднее время и не свернул на съезд номер 9 «ЭШЕР-АВЕНЮ, ХАРВИЧ». Сегодня он повел свой синий с черными покрышками демо дальше на юг; его не переставало забавлять, как вспыхивали тормозные огни машин впереди, чуть только их водители замечали его в зеркале заднего вида... Они принимали его за полицейского — и ехал так до самого Нью-Йорка.

Машину он оставил в салоне Арни Моссберга в Вест-Сайде (когда торгуешь «шевроле», проблем с парковкой не возникает — одна из приятностей этого бизнеса), по дороге через город рассматривал витрины, съел бифштекс в «Палм-То», а потом отправился на похороны Пейгано.

Пейг тоже был на месте падения вертолетов в то утро, одним из ребят, попавших в заключительную засаду, когда сам Салл не то наступил на мину, не то порвал проволочку и взорвал прикрепленный к дереву заряд. Человечки в черных пижамах тут же вдарили по ним. На тропе Пейг ухватил Волленски, когда Волленски получил пулю в горло. Он дотащил Волленски до поляны, но Волленски был уже мертв. Пейг, конечно, был залит кровью Волленски (собственно, этого Салливан не помнил, к тому моменту он уже горел в собственном аду), но, наверное, Пейг испытывал только облегчение, поскольку эта кровь закрасила ту кровь, еще не совсем запекшуюся: Пейгано ведь был так близко, что его всего забрызгало, когда Слоуком застрелил дружка Мейлфанта. Забрызгало кровью Клемсона, забрызгало мозгом Клемсона.

Салл никогда ни словом не обмолвился о том, что произошло с Клемсоном в деревне, — ни доктору Конрою, никому другому. Он ушел в глухую. Все они ушли в глухую.

Пейг умер от рака. Когда умирал кто-нибудь из старых вьетнамских корешей Салла (ну ладно, были они не совсем корешами — по большей части дураки из дураков и совсем не такие, каких Салл назвал бы корешами, но они пользовались этим словом, потому что не придумано еще слово, чтобы обозначить, чем они были друг для друга), то словно бы причиной всегда был рак, или наркотики, или самоубийство. Рак обычно начинался в легких или в мозгу, а затем просто распространялся повсюду, будто все они потеряли свою иммунную систему там, в зелени. У Дика Пейгано это был рак поджелудочной железы — у него и у Майкла Линдона. Рак звезд. Гроб был открыт, и старина Пейг выглядел не так уж плохо. Жена поручила гробовщику обрядить его в строгий костюм, а не в форму. Вероятно, она вообще о форме не вспомнила, вопреки всем наградам, которые получил Пейгано. Пейг носил форму всего два-три года, и годы эти были как аберрация, как срок, отбытый в тюрьме за то, что в один невезучий момент ты сделал что-то, совсем тебе несвойственное, скорее всего пока был пьян. Например, убил кого-то в пьяной драке или тебе вдруг взбрело в башку поджечь церковь, где твоя бывшая жена занималась с учениками воскресной школы. Салл не представлял себе, чтобы хоть кто-нибудь из тех, с кем он служил — включая и его самого, — захотел бы, чтобы его похоронили в военной форме.

Диффенбейкер — для Салла он все еще оставался новым лейтенантом — тоже приехал на похороны. Салл не видел Диффенбейкера уже очень давно, и они хорошо поговорили.., хотя, собственно, говорил почти только Диффенбейкер. Салл не очень-то верил, что разговоры что-то меняют, но он все думал и думал о том, что говорил Диффенбейкер. И в основном о том, с каким бешенством он говорил. Всю дорогу назад до Коннектикута он думал об этом.

К двум часам он проехал мост Триборо, направляясь на север, имея в запасе достаточно времени, чтобы опередить час пик. «Ровное движение через Триборо и на главных пересечениях» — так выразил это регулировщик в вертолете службы дорожного движения. Вот для чего теперь использовались вертолеты: оценивали интенсивность движения машин на въездах и выездах больших американских городов.

Когда при приближении к Бриджпорту скорость машин начала замедляться, Салл этого не заметил. С новостей он переключил приемник на старые песни и погрузился в воспоминания о Пейге и его гармониках. Штамп кинофильмов о войне: седеющий ветеран с губной гармоникой, но Пейгано, Господи Боже ты мой, Пейгано мог свести вас с вашего хренового ума. Ночью и днем он верещал и верещал, пока кто-то из ребят — возможно Хексли, а то и Гаррет Слоуком — не сказал ему, что если он не прекратит, то как-нибудь проснется поутру с первой в мире губной гармошкой, пересаженной в задний проход.

Чем больше Салл обдумывал это, тем больше склонялся к мысли, что пригрозить ректальной пересадкой должен был Сдай Слоуком. Черный верзила из Талсы считал, что «Слай и Фэмили Стоун» — лучшая группа на земле (отсюда и его прозвище), и отказывался поверить, что другая его любимая группа «Рейр Эрф» была белой. Салл помнил, как Дифф (это было до того, как Диффенбейкер стал новым лейтенантом и кивнул Слоукому — наверное, самый главный жест, какой Диффенбейкер сделал или сделает в своей жизни) втолковывал Слоукому, что эти ребята были такими же белыми, как е... й Боб Дилан («беломазый певунчик» — так Слоуком называл Дилана). Слоуком подумал, подумал, а затем ответил с редкой для него серьезностью:

«Ни хрена! «Рейр Эрф» — они черные. Записываются они на хреновом Мотауне, а все мотаунские группы — черные, это все знают. «Супримз», хреновые «Темпе», Смоки Робинсон и «Миракле». Я тебя уважаю, Дифф, но если ты будешь нести свою чушь, я из тебя котлету сделаю».

Слоуком не терпел музыку губной гармоники. Эта музыка напоминала ему беломазого певунчика. Если ему пытались втолковать, что Дилан принимает войну к сердцу, Слоуком спрашивал, а почему этот осел ревучий, е... на мать, не приехал сюда с Бобом Хоупом хоть разочек? «Я вам объясню почему, — сказал Слоуком, — трусит, вот почему. Блядский сладкозадник, осел ревучий на гармонике, е... на мать!»

Размышляя о том, как Диффенбейкер молол про шестидесятые, думая об этих былых именах, и былых лицах, и былых днях, не замечая, как спидометр «каприса» перестал показывать шестьдесят и показывал уже пятьдесят.., сорок, и машины на всех четырех полосах, ведущих на север, начали скапливаться, он вспоминал, каким Пейг был в зелени — тощим, черноволосым, со щеками еще в остатках послеподростковых прыщей, с автоматом в руках и двумя хонеровскими гармониками («до» и «соль») за поясом камуфляжных брюк. Тридцать лет назад это было. Сбросить еще десяток лет — и Салл мальчишка, растущий в Харвиче, дружащий с Бобби Гарфилдом и мечтающий, чтобы Кэрол Гербер хоть разок посмотрела на него, Джона Салливана, так, как всегда смотрела на Бобби.

Со временем она, конечно, поглядела на него, но не совсем так, нет, не совсем так, нет, не совсем так. Ни разу. Потому ли, что ей уже не было одиннадцати, или потому, что он не был Бобби? Салл не знал. И сам тот взгляд был тайной. Он словно говорил, что Бобби ее убивает и она рада, она будет умирать так, пока звезды не осыпятся с небес, а реки не потекут в гору, и все слова «Луйи, Луйи» будут известны, все до единого.

Что произошло с Бобби Гарфилдом? Попал он во Вьетнам? Присоединился к «детям цветов»? Женился, обзавелся детьми, умер от рака поджелудочной железы? Салл понятия не имел. Наверняка он знал только, что Бобби как-то изменился за лето 1960 года — то лето, когда Салл выиграл неделю в лагере на озере Джордж — и навсегда уехал с матерью из Харвича. Кэрол осталась до окончания школы, и, хотя она ни разу не посмотрела на него совсем так, как на Бобби, он был ее первым, а она — его. Однажды вечером, за городом, позади коровника, полного мычащей скотины, Салл помнил, как вдохнул сладкий аромат ее духов, когда кончил.

Откуда эта странная перекрестная связь между Пейгано в гробу и друзьями его детства? Может, дело в том, что Пейгано был чуть похож на Бобби — такого, каким он был в те далекие дни? Волосы у Бобби были темно-рыжие, а не черные, но сложение у него было такое же щуплое, и худое лицо.., и такие же веснушки. Угу! И у Пейга, и у Бобби веснушки рассыпались по щекам веером от переносицы. А может, просто потому, что когда кто-нибудь умирает, вспоминаешь прошлое, прошлое, блядское прошлое.

Теперь «каприс» двигался со скоростью двадцати миль в час, а впереди машины остановились намертво, чуть не дотянув до съезда номер 9, но Салл все еще ничего не замечал. WKND, специализирующаяся на старых песнях, передавала»? и Мистерианс» — они пели «96 слез», а он думал о том, как шел за Диффенбейкером по центральному проходу церкви к гробу взглянуть на Пейгано под записанные на пленку церковные песнопения. В тот момент над трупом Пейгано реяли звуки «Пребудь со мной» — над трупом Пейга, который бывал абсолютно счастлив, сидя рядом со своим автоматом, с вещмешком на коленях, с запасом «уинстонок» за ремнем его каски и наигрывая «Уезжаю в край далекий» снова и снова.

Всякое сходство с Бобби Гарфилдом давно исчезло, обнаружил Салл, заглянув в фоб. Гробовщик неплохо потрудился, чтобы гроб можно было открыть, тем не менее Пейг сохранил заострившийся подбородок и складки кожи под ним, выдающие толстяка, который провел заключительные месяцы на антираковой диете, той, которая никогда не описывается в «Нейшнл инквайререр», той, которая состоит из облучения, инъекций химических ядов и картофельных чипсов в неограниченном количестве.

— Помнишь гармоники? — спросил Диффенбейкер.

— Помню, — ответил Салл. — Я все помню. — Прозвучало это как-то не так, и Диффенбейкер поглядел на него.

Салл в четкой слепящей вспышке увидел, как выглядел Дифф в тог день в деревне, когда Мейлфант, Клемсон и все остальные нимроды внезапно принялись отплачивать за утренний ужас.., за ужас всей последней недели. Они хотели куда-нибудь сбросить все это — вопли в ночи и внезапные разрывы снарядов, а в заключение — горящие вертолеты, которые рушились, а их роторы, пока они валились вниз, все еще вращались, разгоняя дым их гибели. Они брякнулись о землю, блям-м-м! И человечки в черных пижамах принялись палить из зарослей по Дельте два-два и Браво два-один, едва американцы выскочили на поляну. Салл бежал рядом с Уилли Ширменом справа и лейтенантом Пэкером впереди; потом лейтенант получил очередь в лицо, и впереди него никого не осталось. Слева от него был Ронни Мейлфант, и Ронни вопил своим пронзительным фальцетом: вопил, вопил, вопил — он был словно настырный рекламщик по телефону, нажравшийся амфетаминов: «Давай, бляди е... ные! Давай, говнюки! Стреляй меня, сволочь хренова! Хрены хреновы! Вам только своим говном стрелять!» За ними был Пейгано, а рядом с Пейгом — Слоуком, парни из Браво, но больше ребята из Дельты, так ему помнилось. Уилли Ширмен вопил своим парням, но они почти все остановились. И Клемсон был там, и Волленски, и Хэкмейкер, и просто поразительно, как он запомнил их фамилии; их фамилии и запах того дня. Запах джунглей и запах керосина. Вид неба — синего над зеленым, и, о черт, как они стреляли, как эти маленькие засранцы стреляли: никогда не забыть, как они стреляли, или ощущение мин, пролетающих совсем рядом, а Мейлфант вопил: «Стреляй меня, сволочь засранная! Не выходит! Хрены безглазые! Давай, вот же я! Жопы ослеплые, педики трахнутые, я здесь!» А люди в рухнувших вертолетах кричали, и они их вытащили и обдали пеной и вытащили их, только людьми они больше не были, не были тем, что можно назвать людьми, а были они почти все кричащими обедами быстрого разогрева, обедами быстрого разогрева с глазами и пряжками от поясов, и пальцы тянутся, и курится дым от расплавившихся ногтей... Ну да, вот так, о чем не расскажешь таким, как доктор Конрой — как, пока ты их тащил, от них отваливались части, вроде как соскальзывали с них — ну, как с зажаренной индейки сползает кожа по горячему разжижившемуся жиру под ней, вот так, а ты все время чувствуешь запах джунглей и керосина, и это все происходит — такое-претакое замечательное шоу, как говаривал Эд Салливан, и происходит все это на нашей сцене, и тебе ничего не остается, как участвовать и стараться дотянуть до конца.

Это было то утро, это были те вертолеты, а такое необходимо сбросить так или иначе. Когда днем они добрались до засранной деревни, в носах у них все еще гнездился смрад обугленных вертолетчиков, старый лейтенант был убит, а кое-кто из парней — Ронни Мейлфант и его дружки, если вам требуются уточнения, — немножко свихнулся. Новым лейтенантом стал Диффенбейкер, и вдруг он обнаружил, что командует сумасшедшими, которые намерены убивать всех, кого увидят, — детей, стариков, стареньких мамасан в красных китайских туфлях.

Вертолеты рухнули в десять. Примерно в два ноль пять Ронни Мейлфант первым воткнул свой штык в живот старухи, а затем объявил, что отрежет голову е... ной свинье. Примерно в четыре пятнадцать мир взорвался прямо в лицо Джону Салливану. Это был его великий день в провинции Донг-Ха, его такое-претакое замечательное шоу.

Стоя между двумя хижинами у начала единственной деревенской улицы, Диффенбейкер выглядел перепуганным шестнадцатилетним мальчишкой. Но было ему не шестнадцать, ему было двадцать пять — на годы старше Салла и большинства остальных. Единственным, равным Диффу по возрасту и званию, там был Уилли Ширмен, но Уилли вроде бы не хотел брать на себя команду. Может, утренняя спасательная операция его вымотала. А может, он заметил, что опять атаку возглавляют ребята из Дельты два-два. Мейлфант визжал, что е... ные вьетконговцы, говнюки хреновы, как увидят десятки голов на кольях, так дважды подумают, прежде чем валять дурака с Дельтой. Снова и снова этим пронзительным визгом телефонного рекламщика. Игрок в карты. Мистер Шулер. У Пейга были его гармоники. У Мейлфанта была его трахнутая колода. «Черви» — игра Мейлфанта. Десять центов очко, если удавалось, пять центов очко, если не удавалось. «Давай, ребята! — вопил он этим своим пронзительным голосом, от которого, клялся Салл, кровь лила из носов, а саранча дохла в воздухе. — Давай, хвост трубой, травим Стерву!»

Салл помнил, как он стоял на улице и смотрел на бледное измученное растерянное лицо нового лейтенанта. Помнил, как подумал: «Он не может. Того, что надо сделать, чтобы остановить это, прежде чем оно совсем вырвется из-под контроля. Он не может». Но тут Диффенбейкер собрался и кивнул Слаю Слоукому. Слоуком ни секунды не колебался. Слоуком стоял на улице рядом с перевернутой табуреткой — хромированные ножки, красное сиденье, — поднял автомат к плечу, прицелился и снес голову Ральфа Клемсона с плеч. Пейгано, стоявший почти рядом и, выпучив глаза, смотревший на Мейлфанта, вроде бы даже не заметил, что его забрызгало с головы до ног. Клемсон свалился мертвый поперек улицы, и это покончило с весельем. Игра кончилась, беби.

\* \* \*

Теперь Диффенбейкер обзавелся внушительным животом игрока в гольф и бифокальными очками. Кроме того, он потерял большую часть волос. Салла это поразило, потому что у Диффа их более чем хватало еще пять лет назад на встрече старых товарищей на Джерсейском берегу. Салл про себя поклялся, что он в последний раз встречается с ними. Они не стали лучше, ни на хрена не помягчали. Каждая новая встреча все больше смахивала на крутую тусовку.

— Хочешь выйти покурить? — спросил новый лейтенант. — Или ты бросил курить, когда все бросили?

— Бросил, как все бросили. — К тому времени они стояли чуть левее гроба, оставляя место остальным прощающимся заглянуть в него и пройти мимо них. Говорили они тихо, и записанная на пленку музыка легко перекатывалась через их голоса — тягучая душеспасительная звуковая дорожка. Теперь, если Салл не ошибся, звучал «Древний крест».

— Думаю, Пейг предпочел бы... — начал он.

— «Уезжаю в край далекий» или «Будем трудиться все вместе», — докончил Диффенбейкер с ухмылкой.

Салл ухмыльнулся в ответ. Это был один из тех редких моментов, нежданных, как солнечный луч, вдруг прорвавший обложные тучи, когда хорошо что-то вспомнить, — один из тех моментов, когда вы вопреки всему почти рады, что оказались тут.

— А то и «Бум-Бум», ну, хит «Анималис», — сказал он.

— Помнишь, как Слай Слоуком сказал Пейгу, что загонит гармонику ему в зад, если Пейг не даст ей передохнуть? Салл кивнул, все еще ухмыляясь.

— Сказал, что если загнать ее туда повыше, так Пейг сможет играть «Долину Красной реки», чуть захочет пернуть. — Он с нежностью посмотрел на гроб, словно ожидая, что и Пейгано ухмыляется этому воспоминанию. Но Пейгано не ухмылялся. Пейгано просто лежал с гримом на лице. Пейгано дотянул до конца. — Я выйду погляжу, как ты куришь.

Договорились.

Диффенбейкер, который когда-то дал «добро» одному своему солдату застрелить другого своего солдата, пошел по боковому проходу, и, когда он проходил под очередным витражом, его лысина озарялась разноцветными бликами. Следом за ним, хромая — он хромал уже более половины своей жизни и перестал это замечать, — шел Джон Салливан, золотозвездный торговец «шевроле».

\* \* \*

Машины на 1–95 теперь еле ползли, а затем и полностью замерли, если не считать кратеньких судорожных продвижений вперед по той или другой полосе. На радио»? и Мистерианс» уступили место «Сдаю и Фэмили Стоун» — «Танцуйте под музыку». Задрыга Слоуком уж наверняка отбивал бы чечетку жопой о сиденье, вовсю отбивал бы. Салл поставил демонстрационный «каприс» на парковку и выбивал ритм на баранке.

Когда песня начала приближаться к завершению, он поглядел вправо — на сиденье рядом сидела старенькая мамасан, чечетку жопой не отбивала, а просто сидела, сложив желтые руки на коленях, уперев свои до хрена яркие туфли с китайскими иероглифами в пластиковый коврик с надписью на нем «САЛЛИВАН ШЕВРОЛЕ БЛАГОДАРИТ ВАС ЗА ПОКУПКУ».

— Привет, стерва старая, — сказал Салл скорее с удовольствием, чем с тревогой. Когда она в последний раз показывалась? Пожалуй, на новогодней встрече у Тэкслинов, в тот последний раз, когда Салл по-настоящему напился. — А почему тебя не было на похоронах Пейга? Новый лейтенант справлялся о тебе.

Она не ответила — а когда же она отвечала? Просто сидела, сложив руки, не спуская с него черных глаз, кинопризрак в зеленом, оранжевом и красном. Только старенькая мамасан не была похожа ни на одно голливудское привидение: сквозь нее ничего видно не было, она никогда не меняла облика, никогда не растворялась в воздухе. Одно желтое морщинистое запястье обвивала плетенка из веревочки, вроде школьного браслета дружбы у школьников помладше. И хотя ты видел каждый изгиб веревочки и каждую морщину на ее дряхлом желтом лице, никакого запаха ты не ощущал, а единственный раз, когда Салл попытался до нее дотронуться, она взяла да и исчезла. Она была призраком, а его голова — домом, где она водилась. Лишь изредка (обычно без боли и всегда без предупреждения) его голова выташнивала ее туда, где он мог ее видеть.

Она не менялась. Не облысела, обходилась без камней в желчном пузыре и бифокальных очков. Она не умерла, как умерли Клемсон и Пейг, и Пэкер, и парни в рухнувших вертолетах (даже те, которых они унесли с поляны с ног до головы в пене, точно снеговики, тоже умерли, слишком велики были ожоги, чтобы у них оставался шанс выжить, и все это оказалось впустую). И она не исчезла, как исчезла Кэрол. Нет, старенькая мамасан продолжала вдруг его навещать, и она ничуть не изменилась с тех дней, когда «Мгновенная Карма» входила в десятку лучших хитов. Один раз ей, правда, пришлось умереть, пришлось валяться в грязи, когда Мейлфант сначала загнал штык ей в живот, а потом объявил о намерении отрезать ее голову, но с тех пор она оставалась абсолютно неизменной.

— Где ты была, лапушка? — Если какие-нибудь в соседних машинах глядят в его сторону («каприс» теперь был зажат в коробочку со всех четырех сторон) и заметят, что губы у него шевелятся, то подумают, что он поет под радио. А если они подумают что-нибудь еще, то и на хрен. Кому, хрен, интересно, что кто-то из них думает? Он кое-чего навидался, навидался всяких ужасов, и в том числе видел петлю собственных кишок на кровавой подстилке волос в паху, и если иногда он видит этот старенький призрак (и разговаривает с ней), так, хрен, ну и что? Кого это касается, кроме него самого?

Салл посмотрел вперед, стараясь разглядеть, из-за чего образовался затор (и не сумел, как бывает всегда: вам просто приходится ждать и проползать немножечко вперед, когда машина перед вами немножечко проползает вперед), а потом поглядел назад. Иногда она после этого исчезала. Но на этот раз она не исчезла, на этот раз она просто сменила одежду. Красные туфли остались прежними, но теперь она была одета медсестрой — белые нейлоновые брюки, белая блузка (с пришпиленными к ней золотыми часиками, такой приятный штрих), белая шапочка с маленькой черной полоской. Руки у нее, однако, все еще были сложены на коленях, и она все еще смотрела на него.

— Где ты была, мать? Мне тебя не хватало. Я знаю, это черт-те что, но так и есть. Мать, я тебя все время вспоминал. Видела бы ты нового лейтенанта. Нарочно не придумать! Вошел в фазу солнечной подзарядки сексуальных батарей. И лысина во всю голову. Так и сияет.

Старенькая мамасан ничего не сказала. Салла это не удивило. За похоронным салоном был проулок с выкрашенной зеленой краской скамьей у стены. Справа и слева от скамьи стояли ведра с песком, полные окурков. Диффенбейкер сел возле одного из ведер, сунул сигарету в рот («Данхилл», отметил Салл. Очень солидно), потом протянул пачку Саллу.

— Нет, я правда бросил.

— Замечательно! — Диффенбейкер щелкнул «Зиппо» и прикурил, а Салл вдруг сделал неожиданное открытие: он ни разу не видел, чтобы те, кто побывал во Вьетнаме, закуривали сигареты от спички или бутановых зажигалок; все вьетнамские ветераны словно бы пользовались исключительно «Зиппо». Но на самом деле так ведь быть не могло? Ведь верно?

— Ты все еще заметно хромаешь, — сказал Диффенбейкер.

— Угу.

— В целом я бы назвал это заметным улучшением. В прошлый раз, когда я тебя видел, ты так припадал на ногу, что прямо-таки пошатывался. Особенно после того, как пропустил за галстук пару стопок.

— А ты все еще ездишь на встречи? Они их все еще устраивают? Пикники и прочее дерьмо?

— Кажется, устраивают. Но я уже три года не езжу. Слишком угнетающе.

— Угу. Те, у кого нет рака, хреновы алкоголики. Те, кто сумел покончить со спиртным, сидят на «прозаке».

— Так ты заметил?

— Угу, бля, я заметил.

— Так я не удивляюсь. Ты никогда не был самым большим умником в мире, Салл-Джон, но вот замечать и улавливать ты, сукин сын, умеешь. Даже тогда умел. Так или не так, но ты попал в точку — выпивка, рак, депрессия, вот вроде бы основные проблемы. Да, и еще зубы. Я пока не встречал вьетнамского ветерана, у которого с зубами не было бы полного дерьма.., если, конечно, они у него еще остались. А как у тебя, Салл? Как твои кусалки?

Салл, у которого со времен Вьетнама выдрали шесть (плюс запломбированные каналы почти без числа), помотал рукой в жесте comme ci, comme ca [так себе (фр.).].

— Другая проблема? — спросил Диффенбейкер. — Как с ней?

— Как сказать, — ответил Салл.

— То есть?

— Это зависит от того, что именно я назвал своей проблемой. Мы встречались на трех хреновых пикниках...

— На четырех. Кроме того, был минимум один, на который ты не приехал. Год спустя после того на Джерсейском берегу? Тот, на котором Энди Хэкмейкер сказал, что покончит с собой. Спрыгнет со статуи Свободы. С самого верха.

— И спрыгнул?

Диффенбейкер сделал затяжку и смерил Салла взглядом, который все еще был лейтенантским. Даже после стольких лет он сумел собраться для этого взгляда. Ну прямо поразительно.

— Прыгни он, ты прочел бы об этом в «Пост». Разве ты не читаешь «Пост»?

— Со всем усердием.

Диффенбейкер кивнул.

— У всех вьетнамских ветеранов проблемы с зубами, и все они читают «Пост». То есть если находятся в зоне достижения «Пост». Что, по-твоему, они делают в противном случае?

— Слушают Пола Харви, — без запинки сказал Салл, и Диффенбейкер засмеялся.

Салл вспомнил Хэка, который тоже был там в день вертолетов, и деревни, и засады. Белобрысый парень с заразительным смехом. Покрыл фотку своей девушки пластиком, чтобы ей не вредила сырость, и носил ее на шее на короткой серебряной цепочке. Хэкмейкер был рядом с Саллом, когда они вошли в деревню и началась стрельба. Оба они видели, как старенькая мамасан выбежала из хижины с поднятыми ладонями, бормоча что-то без передышки, что-то без передышки втолковывая Мейлфанту, и Клемсону, и Пизли, и Мимсу, и остальным, кто палил куда попало. Миме перед этим прострелил ногу мальчонке. Возможно, нечаянно. Малыш лежал в пыли перед дерьмовой лачужкой и кричал. Мамасан приняла Мейлфанта за начальника — почему бы и нет? Мейлфант ведь орал больше всех — и подбежала к нему, все еще взмахивая ладонями в воздухе. Салл мог бы предупредить ее, что она допустила страшную ошибку — мистер Шулер прожил это утро с лихвой, как и они все, но Салл даже рта не открыл. Они с Хэком стояли там и смотрели, как Мейлфант вскинул приклад автомата и обрушил его ей на лицо, так что она опрокинулась навзничь и перестала бормотать. Уилли Ширмен стоял шагах в пятнадцати оттуда, Уилли Ширмен из их родного городка, один из католических ребят, которых они с Бобби боялись, и по лицу Уилли нельзя было ничего прочесть. Уилли Бейсбол — называли его подчиненные, и всегда ласково.

— Так в чем же твоя проблема, Салл-Джон? Салл вернулся из деревни в Донг-Ха в проулок за похоронным салоном в Нью-Йорке.., но не сразу. Некоторые воспоминания были словно Смоляное Чучелко в старой сказке про Братца Лиса и Братца Кролика — к ним прилипаешь.

— Да как сказать. Про какую проблему я тогда говорил?

— Ты сказал, что у тебя оторвало яйца, когда они ударили в нас за деревней. Ты сказал, что тебя Бог покарал за то, что ты не остановил Мейлфанта до того, как он совсем свихнулся и убил старуху.

«Свихнулся» тут мало подходило: Мейлфант стоит, расставив ноги над лежащей старухой, и опускает штык, и ни на секунду не умолкает. Когда потекла кровь, ее оранжевую блузу будто перекрасили.

— Я немножечко преувеличил, — ответил Салл, — как бывает по пьянке. Кусок мошонки все еще в наличии и действует. Так что насос иногда включается. Особенно с тех пор, как появилась «виагра». Господи, благослови это дерьмо.

— Выпивать бросил, как и курить?

— Иногда пропускаю пивка, — ответил Салл.

— «Прозак»?

— Пока еще нет.

— Развелся?

Салл кивнул.

— А ты?

— Дважды. Однако подумываю сунуть голову в петлю еще раз. Мэри-Тереза Чарлтон, и до чего же мила! Третий раз счастливый — вот мой девиз.

— Знаешь что, лейт? — спросил Салл. — Мы тут определили наследство, которое оставил Вьетнам. — Он поднял указательный палец. — Вьетнамские ветераны кончают раком, обычно легких или мозга, но и других органов тоже.

— Как Пейг? Поджелудочная железа, так?

— Точно.

— Весь этот рак из-за Оранжевого дефолианта, — сказал Диффенбейкер. — Недоказуемо, но мы-то все это знаем. Оранжевый дефолиант — подарок, который сам дарит, и дарит, и дарит.

Салл поднял средний палец — твой хренпальчик, конечно, назвал бы его Ронни Мейлфант.

— Вьетнамские ветераны страдают депрессиями, напиваются на вечеринках, угрожают спрыгивать с национальных достопримечательностей. — И безымянный палец. — У вьетнамских ветеранов плохо с зубами. — Мизинец. — Вьетнамские ветераны разводятся.

Тут Салл сделал паузу, полуприслушиваясь к музыкальной записи, доносящейся из полуоткрытого окна и глядя на четыре отогнутых пальца и на большой, все еще прижатый к ладони. Ветераны были наркоманами. Ветераны в среднем были финансовым риском — любой банковский администратор скажет вам это. (В те годы, когда Салл заводил свое дело, очень многие банкиры говорили ему это.) Ветераны брали лишнее по кредитным карточкам, их вышвыривали из игорных казино, они плакали под песни Джорджа Стрейта и Патти Лавлейс, дырявили друг друга ножами в кегельбанах и барах, покупали в кредит гоночные машины, а потом превращали их в металлолом, били своих жен, били своих детей, били своих хреновых собак и, возможно, бреясь, резали себе лицо чаще людей, которые знают о зелени только из «Апокалипсиса сегодня» или из этого дерьмового говна «Охотника на оленей».

— А большой палец что? — спросил Диффенбейкер. — Давай, Салл, не то ты меня уморишь тут.

Салл посмотрел на свой загнутый большой палец. Посмотрел на Диффенбейкера, который теперь носил бифокальные очки и обзавелся солидным брюхом (тем, которое вьетнамские ветераны обычно называют «дом, который построил «Бад» [Марка пива.]), но который все еще мог прятать внутри себя того тощего молодого человека с восковым цветом лица. Потом он опять посмотрел на свой большой палец и поднял его, точно человек, голосующий на шоссе.

— Вьетнамские ветераны ходят с «Зиппо», — сказал он. — Во всяком случае, пока не бросают курить.

— Или пока не обзаведутся раком, — сказал Диффенбейкер. — А тогда, надо полагать, их женушки забирают «Зиппо» из их слабеющих пальцев.

— Кроме тех, кто развелся, — добавил Салл, и оба засмеялись. Снаружи похоронного салона было очень хорошо. Ну, может, не то чтобы так уж хорошо, но лучше, чем внутри. Органная музыка там была скверной, а запах цветов еще хуже. Запах цветов заставлял Салла думать о Дельте Меконга. «В сельских местностях», — говорили люди теперь, но он не помнил, чтобы хоть раз слышал это выражение тогда.

— Так, значит, ты потерял свои яйца не целиком, — сказал Диффенбейкер.

— Угу. Так и не угодил полностью в страну Джека Барнса.

— Кого?

— Не важно. — Салл никогда книгами не зачитывался (вот его друг Бобби зачитывался), но библиотекарь в госпитале дал ему «Фиесту», и Салл прочел роман с жадностью, и не один, а три раза. Тогда эта книга казалась очень важной — такой же важной, какой та книга — «Повелитель мух» — была для Бобби в дни их детства. Теперь Джек Барнс отодвинулся вдаль — жестяной человек с поддельными проблемами. Просто еще одна фальшивка.

— Да?

— Да. Я могу иметь женщину, если по-настоящему захочу, — не детей, нет, но женщину могу. Однако требуются всякие приготовления, и чаще кажется, что оно того не стоит.

Диффенбейкер ничего не сказал. Он сидел и смотрел на свои руки. Когда он поднял глаза, Салл решил, что он скажет что-нибудь о том, что ему пора, быстро попрощается с вдовой — и снова в бой (Салл подумал, что для нового лейтенанта бои теперь означают продажу компьютеров с волшебной штучкой в них, которая называется Пентиум), но Диффенбейкер этого не сказал. Он спросил:

— А как насчет старушки? Ты все еще ее видишь или она пропала?

Салл ощутил, как в глубине его сознания шевельнулся страх — бесформенный, но огромный.

— Какая старушка? — Он не помнил, чтобы говорил о ней Диффенбейкеру, не помнил, чтобы вообще кому-то говорил, но, видимо, говорил. Хрен, на этих пикниках он мог сказать Диффенбейкеру что угодно: в его памяти они были разящими перегаром черными дырами — все до единого.

— Старая мамасан, — сказал Диффенбейкер и снова вытащил пачку. — Та, которую убил Мейлфант. Ты сказал, что часто ее видишь. «Иногда она одета по-другому, но это всегда она», — вот что ты сказал. Так ты все еще ее видишь?

— Можно мне сигарету? — спросил Салл. — В жизни не курил «данхиллок».

\* \* \*

На WKND Донна Саммер пела о скверной девчонке: скверная девчонка, ты такая скверная девчонка. Салл обернулся к старенькой мамасан, на которой снова были ее зеленые штаны и оранжевая блуза. Он сказал:

— Мейлфант никогда не был явно сумасшедшим. Не более сумасшедшим, чем любой человек.., если, конечно, не считать «червей». Он всегда подыскивал троих, которые согласились бы играть с ним в «черви», а это ведь никакое не сумасшествие, верно? Не больше, чем Пейг с его гармониками, не говоря уж о тех, кто тратит свои ночи на то, чтобы нюхать героин. Кроме того, Ронни помогал вытаскивать ребят из вертолетов. В зарослях десяток косоглазых, а то и два десятка, и все палят как бешеные. Они уложили лейтенанта Пэкера, и Мейлфант наверняка это видел, он же был рядом, но он ни секунды не колебался.

Как и Фаулер, и Хок, и Слоуком, и Пизли, и сам Салл. Даже после того как Пэкер упал, они продолжали бежать вперед. Они были храбрыми мальчишками. И если их храбрость была понапрасну растрачена в войне, затеянной тупо упрямыми стариками, неужели сама эта храбрость ничего не стоит? Если на то пошло, дело, за которое боролась Кэрол, было не правым потому лишь, что бомба взорвалась не в подходящее время? Хрен, во Вьетнаме очень много бомб взрывались не в подходящее время. И что такое был Ронни Мейлфант, если копнуть поглубже, как не всего лишь бомба, которая взорвалась не в подходящее время?

Старенькая мамасан продолжала глядеть на него, его дряхлая седая подружка сидела возле него с руками на коленях — желтыми руками, сложенными там, где оранжевая блуза смыкалась с зелеными полистироловыми штанами.

— Они же стреляли в нас почти две недели, — сказал Салл. — С того дня, как мы ушли из долины А-Шау. Мы победили у Там-Боя, а когда побеждаешь, то идешь вперед — по меньшей мере так мне всегда казалось, но мы-то отступали. Хрен, только-только что не обратились в паническое бегство. И мы скоро перестали чувствовать себя победителями. Поддержки не было, нас просто повесили на веревку сохнуть. Е... ная вьетнамизация! Какая это была хреновина!

Он помолчал, глядя на нее, а она отвечала ему спокойным взглядом. Вокруг них стоящие машины горячечно блестели. Какой-то нетерпеливый дальнобойщик взревел сигналом, и Салл подскочил, как задремавший и внезапно разбуженный человек.

— Вот тогда я, знаешь, и повстречал Уилли Ширмена — при отступлении из долины А-Шау. Вижу, кто-то вроде бы знакомый. Я знал, что встречался с ним прежде, только не мог вспомнить где. Люди же черт знает как меняются между четырнадцатью и двадцатью четырьмя годами, знаешь ли. Потом как-то днем он и другие ребята из батальона Браво сидели и трепались о девочках, и Уилли сказал, что в первый раз он получил французский поцелуй на танцах в Общине святой Терезы. А я думаю: «На хрена! Это же сентгабские девочки!» Подошел к нему и говорю: «Может, вы, католические ребята, и командовали на Эшер-авеню, но мы наподдавали вам по нежным жопам всякий раз, когда вы приходили играть в футбол с Харвичской городской». Ну чистое «ага, попался!». Уилли, бля, так быстро вскочил, что я подумал, не даст ли он деру, как заяц. Будто призрака увидел или что там еще. Но тут он засмеялся и протянул пять, и я заметил, что он все еще носит свое школьное кольцо! И знаешь, что все это доказывает?

Старенькая мамасан ничего не сказала, но она никогда ничего не говорила, однако Салл по ее глазам увидел, что она ЗНАЕТ, что все это доказывает: люди — смешные и странные, дети говорят такое, чего и не придумаешь, выигравшие никогда игры не бросают, бросившие — никогда не выигрывают. И вообще — Боже, благослови Америку.

— Ну, как бы то ни было, они всю неделю гнались за нами, и становилось ясно, что они сближаются.., давят с флангов.., наши потери все время росли, и невозможно было уснуть из-за осветительных ракет и вертолетов и воя, который они поднимали по ночам там в зарослях. А потом нападали на вас, понимаешь.., двадцать их.., три десятка их.., ударят и отступят, ударят и отступят, и вот так все время.., и еще они одну штуку проделывали... — Салл облизнул губы, вдруг заметив, что у него пересохло во рту. Теперь он жалел, что поехал на похороны Пейга. Пейг был хороший парень, но не настолько хороший, чтобы оправдать возвращение таких воспоминаний. ——Поставят в зарослях четыре-пять минометов.., с одного нашего фланга, понимаешь.., а рядом с каждым выстроят по восемь-девять человек с минами. Человечки в черных пижамах, построившиеся, будто младшеклассники у питьевого фонтанчика в школе. А потом по команде каждый бросал свою мину в ствол миномета — и вперед опрометью. Бежали с такой быстротой, что вступали в бой с противником — с нами — примерно тогда же, когда их мины падали на землю. Я всегда вспоминал историю, которую живший над Бобби Гарфилдом старикан рассказал нам, когда мы тренировались в пасовке на траве перед домом Бобби. Про бейсболиста, который когда-то играл за «Доджерсов». Тед сказал, что этот парень был, бля, до того быстр, что посылал мяч и успевал сделать пробежку, чтобы самому его взять, когда отобьют. Это.., вроде как выводило из равновесия.

Да, вот как сейчас его вывело из равновесия, и он напугался, будто малыш, который сдуру рассказывает сам себе в темноте истории о привидениях.

— Огонь, который они вели по поляне, где упали вертолеты, был таким же, только хуже.

Ну, да было это не совсем так. Вьетконговцы тогда утром придерживали огонь, к одиннадцати часам усилили его, а затем вытащили все затычки, как любил говорить Миме. Стрельба из зарослей вокруг пылающих вертолетов была не внезапным ливнем, а нескончаемым обложным дождем.

В перчаточнике «каприса» хранились сигареты, старая пачка «Уинстон», которую Салл держал там на всякий пожарный случай, перекладывая ее из одной машины в следующую всякий раз, когда менял их. Единственная сигарета, которую он стрельнул у Диффенбейкера, разбудила тигра, и теперь он протянул руку мимо старенькой мамасан, открыл перчаточник, пошарил среди бумаг и нащупал пачку. У сигареты будет затхлый привкус, она обдерет ему горло, ну и ладно. Именно такой сорт был ему нужен.

— Две недели обстрела и нападений, — сказал он ей, вжимая прикуриватель. — Трясись, спекись и не трудись выглядывать хреновых северян. У них всегда находилось дело поинтереснее где-нибудь еще. Девочки, пикнички и турнирчики в бильярдных, как говаривал Мейлфант. Мы несли потери, никакого прикрытия с воздуха, когда оно требовалось, никто не спал, и казалось, что чем больше к нам присоединялось ребят из А-Шау, тем становилось хуже. Помню, один из парней Уилли, не то Хейверс, не то Хэбер, не то еще как-то похоже — получил пулю прямо в голову. Прямо в, бля, голову и свалился поперек тропы, а глаза открыты, и он что-то говорит. Кровь так и хлещет из дырки вот тут... — Салл постучал пальцем по собственной голове над ухом, — и мы поверить не можем, что он жив, а чтобы еще и разговаривал... А потом — вертолеты.., вот это и правда было будто из фильма: дым, стрельба — бап-бап-бап-бап. Вот это-то и привело нас, ты знаешь, в вашу деревню. Наткнулись на нее и, черт.., эта вот табуретка на улице, такая, ну, кухонная, с красным сиденьем, а стальные ножки в небо указывают. Дерьмо дерьмом. Извини, но именно так она выглядела — не стоила того, чтобы жить в ней, а уж умирать за нее и подавно. Ваши парни с Севера, они же не хотели умирать за такие места, а почему мы должны были? Она воняла, пахла, как говно — и другие тоже. Вот как все это выглядело. Ну, на запах я особо внимания не обращал. Думается, меня от этой табуретки пробрало. Эта одна табуретка выразила прямо все.

Салл вытащил прикуриватель, поднес вишнево светящуюся спиральку к кончику сигареты и тут вспомнил, что он в демонстрационной машине. Конечно, он мог курить и в демо — черт, она же из его салона, — но если кто-нибудь из продавцов учует запах табачного дыма и придет к выводу, что босс позволяет себе то, за что всем остальным угрожает увольнение, это будет очень скверно. Мало правила вводить, надо самому их соблюдать.., во всяком случае, если хочешь, чтобы тебя уважали.

— Excusez moi [Прошу прощения (фр.)], — сказал он старенькой мамасан. Вылез из машины, мотор которой все работал, закурил сигарету, затем нагнулся к окошку, чтобы вставить прикуриватель в его дырку в приборной доске. День был жаркий, а посреди четырехполосного моря машин с работающими моторами казался еще жарче. Салл ощущал накаляющееся вокруг него нетерпение, но его радио было единственным, которое он слышал; все люди в машинах были застеклены, замкнуты в своих маленьких коконах с кондиционерами и слушали сотни разных вариантов музыки, от Лиз Фейр до Уильяма Акермана. Он подумал, что все другие застрявшие в заторе ветераны, если с ними нет любимых кассет, тоже, наверное, настроились на WKND, где прошлое не умерло, а будущее не наступило. Ту-ту, би-би.

Салл шагнул к капоту своей машины, приставил ладонь козырьком к глазам, защищая их от блеска солнца на хроме, и попытался определить причину затора. Разумеется, он ничего не увидел.

«Девочки, пикнички, турнирчики», — подумал он, и мысль эта облеклась в пронзительный командирский голос Мейлфанта. Кошмарный голос под синевой и из зелени. «Давайте, ребята, у кого Шприц? Я на девяноста, пора взбодриться, время коротко, начнем хреновое шоу на хреновой дороге!»

Он глубоко затянулся «уинстонкой», потом выкашлянул затхлый горячий дым. В солнечном блеске внезапно заплясали черные точки, и он поглядел на зажатую в пальцах сигарету с почти комическим ужасом. Что он делает, опять пробуя это дерьмо? Он что — совсем псих? Ну да, конечно, он псих: всякий, кто видит мертвых старух, сидящих рядом с ним в машине, не может не быть психом, но отсюда не следует, что надо снова пробовать это дерьмо. Сигареты — тот же Оранжевый дефолиант, только купленный на ваши деньги. Салл отшвырнул «уинстонку». Он чувствовал, что решение было правильным, но оно не замедлило участившееся биение его сердца, не сняло ощущение — такое привычное в часы патрулирования, — будто его рот внутри высыхает, стягивается и сморщивается, как обожженная кожа. Есть люди, которые боятся толпы — агорафобия, вот как это называется, боязнь рыночных площадей, — но Салл испытывал ощущение «слишком много» и «чересчур» только в подобные моменты. В лифтах и людных вестибюлях и на железнодорожных кишащих народом платформах он чувствовал себя нормально, но когда повсюду вокруг него стояли застрявшие в заторе машины, ему становилось очень так себе. В конце-то концов, беби, тут некуда было бежать, негде спрятаться.

Несколько человек тоже вылезли из своих кондиционированных стручков. Женщина в строгом коричневом костюме стояла у строго коричневого «БМВ», золотой браслет и серебряные серьги фокусировали солнечный свет, высокий каблук, казалось, вот-вот начнет нетерпеливо постукивать. Она встретилась глазами с Саллом, завела свои к небесам, словно говоря «как типично, не правда ли?», и взглянула на свои часы (тоже золотые, тоже сверкающие). Всадник верхом на «ямахе», верховой ракете, вырубил ревуший мотор своего мотоцикла, поставил его на тормоз, снял шлем, положил на промасленную мостовую возле педали. Он был одет в черные мотошорты и безрукавку с «СОБСТВЕННОСТЬ НЬЮ-ЙОРКСКИХ ШТАНИШЕК» поперек груди. Салл прикинул, что этот тип лишится примерно семидесяти процентов кожи, если в таком костюме слетит со своей верховой ракеты на скорости более пяти миль в час.

— У, черт, — сказал мотоциклист. — Столкнулись, не иначе. Надеюсь, ничего радиоактивного. — И засмеялся, показывая, что пошутил.

Далеко впереди на крайней левой полосе — скоростной, когда машины движутся на этом участке шоссе, — женщина в теннисном костюме стояла возле «тойоты» с наклейкой «НЕТ ЯДЕРНЫМ БОЕГОЛОВКАМ» на бампере слева от номера, а справа наклейка гласила: «ВАШЕЙ КИСКЕ БЕЛОЕ МЯСО «АЗЕР». Юбка у нее была очень короткой, ноги выше колен очень длинными и загорелыми, а когда она сдвинула солнечные очки на волосы с выгоревшими прядями, Салл увидел ее глаза. Они были широко открытыми и голубыми и чем-то встревоженными. Это был взгляд, вызывавший потребность погладить ее по щеке (или, может, по-братски обнять ее одной рукой) и сказать ей, чтобы она не тревожилась: все будет хорошо. Салл прекрасно помнил этот взгляд. Взгляд, который выворачивал его наизнанку. Там стояла Кэрол Гербер, Кэрол Гербер в кроссовках и теннисном костюме. Он не видел ее с того вечера на исходе 1966 года, когда пришел к ней и они сидели на диване (вместе с матерью Кэрол, от которой сильно пахло вином) и смотрели телевизор. Кончилось тем, что они переругались из-за войны и он ушел. «Вернусь, когда буду знать, что сумею держать себя в руках» — вот что он подумал, уезжая в своем дряхлом «шевроле» (даже тогда машина для него означала «шевроле»). Но он так и не вернулся. На исходе шестьдесят шестого она была уже по задницу в антивоенном дерьме — только тому и научилась за семестр в Университете Мэна, — и от одной только мысли о ней он приходил в ярость. Трахнутой пустоголовой идиоткой — вот кем она была. Проглотила наживку вместе с крючком коммунистической антивоенной пропаганды. А потом она и вовсе присоединилась к этим психам, этим ВСМ, и совсем сорвалась с катушек.

— Кэрол! — позвал он, устремляясь к ней. Прошел мимо сопливо-зеленой верховой ракеты, пробрался между задним бампером пикапа и седаном, потерял ее из виду, пока трусил вдоль Урчащего шестнадцатиколесного рефрижератора, потом снова ее увидел.

— Кэрол, э-эй, Кэрол!

Однако, когда она обернулась к нему, он подумал, что, собственно, на него нашло — да что с ним такое? Если Кэрол и жива, ей пятьдесят, как и ему. А этой женщине лет тридцать пять и никак не больше.

Салл остановился — все еще на другой полосе. Всюду урчали и порыкивали легковушки и фургоны. И непонятное пощелкивание в воздухе, которое он было принял за посвист ветра, хотя день был жаркий и абсолютно безветренный.

— Кэрол? Кэрол Гербер?

Пощелкивание стало громче. Звуки, будто кто-то вытягивал и вытягивал язык в сложенных трубочкой губах; треск вертолета вдалеке. Салл поглядел вверх и увидел, что из дымчато-голубого неба прямо на него падает абажур. Он инстинктивно отпрянул, но все свои школьные годы он занимался спортом, и теперь, отклоняя голову, он одновременно протянул руку. И ловко поймал абажур. Гребная лодка неслась на нем вниз по течению в багровеющем закате. «нам НА МИССИСИПИ В САМЫЙ РАЗ» было начертано над лодкой кудрявыми старомодными буквами. А под ней так же кудряво «КАК ПРОТОКА?».

«Откуда, бля, он взялся?», — подумал Салл, и тут женщина, которая выглядела вариантом совсем взрослой Кэрол Гербер, пронзительно закричала. Руки у нее взметнулись, словно чтобы опустить очки с волос на место, но застыли на уровне плеч, судорожно двигаясь, как у исступленного дирижера симфонического оркестра. Так выглядела старенькая мамасан, когда выбежала из своей засранной хреновой лачужки на засранную хренову улицу этой засранной хреновой деревеньки в провинции Донг-Ха. Кровь окрасила плечи белого костюма женщины-теннисистки — сначала крупными каплями, потом струями. Она стекала по загорелым рукам к локтям и капала на землю.

— Кэрол? — ошеломленно спросил Салл. Он стоял между джипом «Додж-Рэм» и «Мак-Траксом», одетый в темно-синий костюм, в котором всегда ездил на похороны, держал абажур, сувенир с реки Миссисипи (как протока?) и глядел на женщину, у которой теперь что-то торчало из головы. Шатаясь, она шагнула вперед — голубые глаза все еще широко открыты, руки все еще двигаются в воздухе, — и Салл понял, что это сотовый телефон. Он определил по антенне, которая покачивалась при каждом ее шаге. Сотовый телефон упал с неба, пролетел только Богу известно сколько тысяч футов и теперь торчал из ее головы.

Она сделала еще шаг, ударилась о капот темно-зеленого «бьюика» и начала медленно опускаться за него на подгибающихся коленях. Точно подлодка погружается, подумал Салл, но только когда она скроется из виду, вместо перископа торчать будет короткая антенна сотового телефона.

— Кэрол? — прошептал он, но это не могла быть она: ведь конечно, ни одна женщина, которую он знал в детстве, ни одна, с которой он когда-либо спал, не могла быть обречена на то, чтобы умереть от травмы, нанесенной упавшей сверху телефонной трубкой.

Люди начали вопить, орать, кричать. Крики в большинстве были вопросительными. Гудели сигналы, рычали моторы, будто можно было куда-то ехать. Рядом с Саллом водитель шестнадцатиколесного «Мака» извлекал из своей силовой установки оглушительное ритмичное фырканье. Завыла сирена. Кто-то заохал не то от удивления, не то от боли.

Одинокая дрожащая белая рука уцепилась за капот темно-зеленого «бьюика». Запястье охватывал теннисный браслет. Медленно рука и браслет ускользнули от Салла. На миг пальцы женщины, похожей на Кэрол, еще цеплялись за капот, затем исчезли. Что-то еще со свистом падало с неба.

— Ложись! — завопил Салл. — Ложись, мать вашу!

Свист перешел в пронзительный раздирающий душу визг, и падающий предмет ударился в капот «бьюика», промяв его, будто ударом кулака, и вспучив под ветровым стеклом. А на двигателе «бьюика» лежала микроволновая печка.

Теперь повсюду вокруг него раздавался грохот падающих предметов. Словно разразилось землетрясение, но каким-то образом не в недрах Земли, а над ней. Мимо него сыпались безобидные хлопья журналов — «Севентин», и «ГК», и «Роллинг Стоун», и «Стерео ревью». Развернутые машущие страницы придавали им сходство с подстреленными птицами. Справа от него из синевы, вертясь на своем основании, вывалилось кабинетное кресло. Оно ударилось о крышу «форда-универсала». Ветровое стекло «универсала» брызнуло молочными осколками. Кресло подпрыгнуло, накренилось и обрело покой на капоте «универсала». На полосу медленного движения и полосу торможения падали портативный телевизор, пластиковая мусорная корзинка, что-то вроде грозди камер с перепутанными ремнями и резиновый коврик. За ковриком последовала бейсбольная бита. Машинка для изготовления воздушной кукурузы ударилась о шоссе и разлетелась сверкающими осколками.

Парень в рубашке со «ШТАНИШКАМИ», владелец сопливо-зеленой верховой ракеты, не выдержал и побежал по узкому проходу между машинами в третьем ряду и машинами, застрявшими на скоростной полосе, петляя, точно горнолыжник, чтобы избежать торчащих боковых зеркал, держа руку над головой, как человек, перебегающий улицу под внезапным весенним ливнем. Салл, все еще сжимавший абажур, подумал, что парню следовало бы поднять свой шлем и нахлобучить его на голову, но, конечно, когда вокруг тебя сыплются разные вещи, становишься забывчивым и в первую очередь забываешь самое для тебя нужное и полезное.

Теперь падало что-то еще, падало близко, падало большое — больше микроволновки, продавившей капот «бьюика», это уж точно. И звук не был свистом, как у бомбы или минометной мины, это был звук падающего самолета, или вертолета, или даже дома. Во Вьетнаме все это валилось с неба вблизи от Салла (дом, бесспорно, в виде обломков). Однако звук этот отличался от тех в важнейшем отношении: он был еще и мелодичным, точно самой огромной эоловой арфы.

Это был концертный рояль, белый с золотом — такой рояль, на котором высокая холодная женщина пробренчит «Ночь и день» — и в шуме машин, и в печальной тиши моего одинокого дома, ду-ду-ду, бип-бип-бип. Белый концертный рояль падал из коннектикутского неба, переворачиваясь, переворачиваясь, отбрасывая на застопоренные машины тень, похожую на медузу, извлекая музыку ветра из своих струн в вихрях воздуха, врывающегося в его грудь. Его клавиши проваливались и выпрыгивали, точно клавиши пианолы, туманное солнце золотило педали.

Он падал в ленивом вращении, и нарастающий звук его падения был звуком чего-то, бесконечно вибрирующего в туннеле из жести. Он падал на Салла, и теперь его размытая тень начинала собираться и фокусироваться, и, казалось, его мишень — запрокинутое к небу лицо Салла.

— ВОЗДУХ! — закричал Салл и кинулся бегом. — ВОЗЗЗДУХ! Рояль пикировал на шоссе, белый табурет летел прямо за ним. А за табуретом кометным хвостом протянулись нотные листы, пластинки 45 оборотов с внушительными дырками в центре, мелкие принадлежности, хлопающий желтый плащ, похожий на пыльник, шина «Гудьеар», флюгер, картотечный шкафчик и чайная чашка с выведенной на боку надписью «ЛУЧШЕЙ БАБУЛЕ В МИРЕ».

— Можно мне сигарету? — спросил Салл у Диффенбейкера за стеной похоронного салона, где Пейг лежал в своем подбитом шелком ящике. — В жизни не курил «данхиллок».

— Любое топливо для твоего катера. — В голосе Диффенбейкера был смешок, будто он ни разу в жизни не собирался в штаны наложить со страха.

Салл все еще помнил: Диффенбейкер стоит на деревенской улице рядом с той, с перевернутой, табуреткой: какой он был бледный, как у него тряслись губы, как от его одежды все еще разило дымом и выплеснувшимся вертолетным топливом.

Диффенбейкер перевел взгляд с Мейлфанта и старухи на тех, кто начал палить по лачугам, на исходящего криком малыша, которого подстрелил Миме; он помнил, как Дифф посмотрел на лейтенанта Ширмена, но помощи от него ждать было нечего. Да и от самого Салла тоже, если на то пошло. Еще он помнил, как Слоуком сверлил взглядом Диффа, Диффа — нового лейтенанта теперь, когда Пэкера убили. И, наконец, Дифф поглядел на Слоукома. Слай Слоуком не был офицером — не был даже одним из тех громкоголосых стратегов в зарослях, которые задним числом знают все лучше всех — и никогда не мог бы им стать. Слоуком был просто одним из просто рядовых, который считал, что группа, поющая так, как «Рейр Эрф», обязательно должна состоять из черных. Иными словами, просто пехотинец, но готовый сделать то, на что остальные готовы не были. Ни на секунду не теряя контакта с растерянными глазами нового лейтенанта, Слоуком чуть повернул голову в другую сторону — в сторону Мейлфанта, и Клемсона, и Пизли, и Мимса, и всех остальных самоназначенных арбитров, чьих имен Салл не помнил. Затем Слоуком вновь уже глядел прямо в глаза лейтенанта. Всего человек семь впали в бешенство и бежали по грязной улице мимо вопящего, истекающего кровью малыша все дальше в эту паршивую деревеньку, оглушительно при этом выкрикивая что попало — ободрения, будто на футболе, но в отрывистом кадансе команд, припев к «Держись, Слупи» и прочее такое же дерьмо — и Слоуком спрашивал глазами:

«Эй, чего вы хотите? Вы теперь босс, так чего вы хотите?»

И Диффенбейкер кивнул.

А смог ли бы он, Салл, кивнуть тогда? Наверное, нет. Наверное, если бы решать должен был он, Клемсон и Мейлфант, и остальные мудаки продолжали бы убивать, пока не израсходовали бы весь боезапас — ведь примерно так вели себя подчиненные Кейли и Мединии [Американские офицеры, командовавшие отрядом, который 16 марта 1968 года перебил более трехсот жителей вьетнамской деревни Ми Лай (Сонгми).]? Но Диффенбейкер, надо отдать ему справедливость, был не Уильям Кейли, Диффенбейкер чуть кивнул. Слоуком кивнул в ответ, вскинул автомат и разнес череп Ральфа Клемсона.

В ту секунду Салл решил, что пулю получил Клемсон потому, что Слоуком водился с Мейлфантом: Слоуком и Мейлфант не так уж редко курили вместе чумовые листья, и кроме того, Слоуком иногда часть свободного времени тратил на то, чтобы травить Стерву вместе с другими любителями «червей». Но пока он сидел тут, катая в пальцах диффенбейкеровскую «данхиллку», Саллу вдруг пришло в голову, что Слоуком срать хотел на Мейлфанта и его чумовые листья; да и на любимую карточную игру Мейлфанта тоже. Во Вьетнаме хватало и бханга, и карточных посиделок. Слоуком выбрал Клемсона потому, что выстрел в Мейлфанта не сработал бы. Все это дерьмо про головы, насаженные на колья, чтобы вьетконговцы усекли, что ждет тех, кто валяет дурака с Дельтой, Мейлфант выкрикивал уже далеко впереди, и те, кто хлюпал и лякал по грязи улицы, паля куда попало, просто внимания не обратили бы. Плюс старенькая мамасан была уже убита, так пусть, хрен, он ее кромсает.

А теперь Дифф был Диффенбейкером, лысым продавцом компьютеров, который перестал ездить на встречи. Он дал Саллу прикурить от своей «Зиппо» и смотрел, как Салл глубоко затянулся, а потом выкашлянул дым.

— Давно не куришь? — спросил Диффенбейкер.

— Два года или около того.

— Хочешь знать жуткую вещь? Как быстро ты снова втянешься?

— Я тебе рассказывал про старуху?

— Угу.

— Когда?

— По-моему, на последней встрече, на которой ты был.., той, на Джерсейском берегу, той, на которой Дергин сорвал блузку с официантки. Отвратительная была сцена.

— Да? Ничего не помню.

— К тому времени ты полностью вырубился. Естественно, эта часть программы всегда была одной и той же. Да собственно, все части программы этих встреч всегда были одинаковы. Имелся диск-жокей, который обычно уходил рано, потому что кто-нибудь грозил набить ему морду за то, что он ставит не те пластинки. До этого момента усилители извергали что-нибудь вроде «Восхода злой луны», и «Зажги мой огонь», и «Полюби меня немножко», и «Моя девочка» — песни со звуковых дорожек всех тех фильмов о Вьетнаме, которые снимались на Филиппинах. Суть была в том, что большинство ребят, которых помнил Салл, всхлипывали от «Карпентеров» или «Утреннего ангела». Вот такая музыка была подлинно со звуковой дорожки зелени и всегда играла, когда ребята передавали друг другу закурить и фотки своих девушек, надирались и пускали слезу над «Оловянным солдатиком», известным в зелени как «Тема от е... ного Билли Джека». Салл не мог вспомнить случая, чтобы он слышал «Двери» во Вьетнаме; всегда «Строберри Аларм Клок» пели «Ладан и мяту». Где-то в глубине он понял, что война проиграна, когда услышал этот хреновый кусок говна, рвущийся из проигрывателя в столовой.

Встречи всегда начинались музыкой и запахом жарящегося мяса (запахом, который всегда смутно напоминал Саллу запах вертолетного топлива) и банками пива в ведерках с битым льдом — и вот эта часть была неплохой, эта часть, правду сказать, была очень приятной. Но потом — хлоп! — и уже наступало следующее утро, и свет обжигал тебе глаза, и сердце превращалось в опухоль, и желудок у тебя был полон отравы. В одно такое следующее утро Салл сквозь тошноту вроде бы вспомнил, что заставлял диск-жокея снова и снова ставить «О Кэрол» Нила Сидейка, грозя убить его, если он попробует поставить что-нибудь другое. В другое такое утро Салл проснулся рядом с бывшей женой Фрэнка Пизли. Она громко храпела, потому что у нее был сломан нос. Ее подушка была в разводах крови, как и щеки, а Салл не мог вспомнить, он ли сломал ей нос или мудак Пизли. Салл предпочел бы, чтобы виноват был Пизли, но знал, что это, вполне возможно, его рук дело. Иногда, особенно в дни ДВ (до «виагры»), когда в постели у него не получалось так же часто, как получалось, он впадал в ярость. К счастью, когда дама проснулась, она тоже не сумела вспомнить. Однако она помнила, как он выглядел в нижнем белье. «Отчего у тебя только одно?» — спросила она.

«Мне и с этим повезло», — ответил тогда Салл. Голова у него разламывалась на куски.

— А что я говорил про старуху? — спросил он Диффенбейкера теперь, когда они сидели и курили у похоронного салона. Диффенбейкер пожал плечами.

— Да просто, что прежде ты ее часто видел. Сказал, что одета она бывает по-разному, но все равно это всегда она, старая мамасан, которую прикончил Мейлфант. Еле сумел заткнуть тебе рот.

— Хрен, — сказал Салл и запустил свободную руку в волосы.

— Ты еще сказал, что с этим у тебя стало легче, когда ты вернулся на Восточное побережье, — сказал Диффенбейкер. — И послушай, что плохого в том, чтобы иногда видеть старушку? Некоторые видят летающие тарелки.

— Но не люди, которые должны двум банкам почти миллион долларов, — сказал Салл, — Знай они...

— Ну, знай они, так что? Я тебе отвечу: ровным счетом ничего. Пока ты платишь проценты, Салл-Джон, без просрочки, приносишь им сказочную наличность, никому дела нет до того, что ты видишь, когда гасишь свет.., или что ты видишь, когда не гасишь его, если на то пошло. Им плевать, если ты одеваешься в женское белье или бьешь свою жену и трахаешь вашего Лабрадора. Кроме того, не думаешь ли ты, что в твоих банках есть такие, кто побывал в зелени?

Салл затянулся аданхиллкой» и посмотрел на Диффенбейкера. Правду сказать, это ему никогда в голову не приходило. Им занимались двое сотрудников отдела займов, которые подходили по возрасту, но они никогда об этом не говорили. Только ведь и он тоже. «В следующий раз, когда я их увижу, — подумал он, — мне придется спросить, пользуются ли они «Зиппо». Такт, понимаете?

— Чему ты улыбаешься? — спросил Диффенбейкер.

— Да так. Ну, а ты, Дифф? У тебя есть своя старушка? Я не про подругу, а про старушку. Мамасан.

— Э-эй! Не называй меня Диффом. Теперь меня так никто не называет. И мне никогда это не нравилось.

— Но есть?

— Ронни Мейлфант — вот моя мамасан, — сказал Диффенбейкер. — Иногда я вижу его. Не так, как ты видишь свою. Будто она действительно перед тобой, но воспоминания ведь тоже реальны.

— Угу.

Диффенбейкер покачал головой.

— Будь это просто воспоминания! Понимаешь? Просто воспоминания.

Салл сидел молча. Орган за стеной теперь играл вроде бы не духовный гимн, а просто музыку. «Отпуск», так вроде она называется. Музыкальный способ сказать скорбящим, что пора и честь знать. Иди домой, Джо-Джо. Мама ждет. Диффенбейкер сказал:

— Есть воспоминания, а есть то, что реально видишь в уме. Ну, как когда читаешь книгу по-настоящему хорошего писателя, и он описывает комнату, и ты видишь эту комнату. Я подстригаю газон, или сижу на совещании и слушаю докладчика, или читаю сказку внуку перед тем, как уложить его спать, или даже обнимаюсь с Мэри на диване, и — бац! — вот он Мейлфант, прыщавая рожа под вьющимися волосами. Помнишь, как его волосы вились?

— Угу.

— Ронни Мейлфант, всегда говорящий про хрен то, хрен се и хрен это. Этнические анекдоты на каждый случай. И футлярчик. Помнишь футлярчик?

— А как же. Кожаный футлярчик, который он носил на поясе. Он в нем держал свои карты. Две колоды. «Эй, идем травить Стерву, ребята! Пять центов очко! Есть желающие?» И они сбегались.

— Угу. Ты помнишь. Просто помнишь. Но я его вижу, Салл, вплоть до белых гнойничков у него на подбородке. Я слышу его. Я чувствую запах хренова наркотика, который он курил.., но главным образом я вижу, как он сшиб ее с ног, и она валялась на земле, и все еще грозила ему кулаком, все еще что-то говорила...

— Хватит!

— ., а я не мог поверить, что это произойдет. Сперва, мне кажется, и сам Мейлфант не верил. Для начала он только замахивался на нее штыком, покалывал самым кончиком, будто дурака валял.., а потом сделал это, всадил штык ей в живот. Хрен, Салл, хрен и еще раз хрен! Она кричала, начала дергаться, а он, помнишь, расставил над ней ноги, а все остальные бежали по улице — Ральф Клемсон и Миме, и не знаю, кто еще. Я всегда не терпел этого говнюка Клемсона — даже больше, чем Мейлфанта, потому что Ронни хотя бы не был подлипалой — с ним что ты видел, то и получал. А Клемсон был чокнутым и еще подлипалой. Я перепугался насмерть, Салл, на е... ную смерть. Я знал, что обязан положить этому конец, но я боялся, что они меня прикончат, если я попробую, все они — все ВЫ, потому что в ту хренову минуту были все вы, ребята, и был я. Ширмен.., против него ничего нет, он выскочил на поляну, когда свалились вертолеты, будто не было никаких завтра, а только эти минуты. Но в этой деревне... Я поглядел на него, и — ничего, совсем ничего.

— Потом он спас мне жизнь, когда мы угодили в засаду, — негромко сказал Салл.

— Знаю. Подхватил тебя на руки и нес тебя, как трахнутый Супермен. На поляне в нем было это, и оно вернулось на тропе, но в промежутке, в деревне.., ни-че-го. В деревне решать должен был я. Будто я был там единственным взрослым.., вот только я себя взрослым не чувствовал.

Салл не стал повторять, чтобы он замолчал. Диффенбейкер хотел выговориться, и заставить его замолчать мог бы только удар кулаком в зубы.

— Помнишь, как она, закричала, когда он его вогнал? Старушка? А Мейлфант стоит над ней и орет про вьетконговцев таких, косоглазых эдаких, и руби то да се. Бога благодарю за Слоукома. Он поглядел на меня, и это заставило меня сделать что-то.., хотя всего-то я и сделал, что приказал ему стрелять.

«Нет, — подумал Салл, — ты и этого не сделал, Дифф. Ты только кивнул. В суде они такое дерьмо не спустили бы, заставили бы тебя говорить громко. Они заставляют делать подробные показания для протокола».

— Я считаю, что Слоуком в тот день спас наши души, — сказал Диффенбейкер. — Ты знаешь, он с собой покончил? Угу. В восемьдесят шестом.

— Я думал автокатастрофа, несчастный случай.

— если врезаться в опору моста на скорости семидесяти миль в тихий вечер — это несчастный случай, так значит, это был несчастный случай.

— А как Мейлфант? Знаешь что-нибудь?

— Ну, ни на одну встречу он, понятно, не приезжал, однако был жив, когда я в последний раз про него слышал. Энди Браннинген видел его в Южной Калифорнии.

— Ежик его видел?

— Ну да, Ежик. И знаешь где?

— Откуда?

— Умрешь, Салл-Джон. Сразу спятишь. Браннинген состоит в «Анонимных алкоголиках». Заменяет ему религию. Говорит, жизнь ему АА спасли, и, думаю, так оно и было. Он пил хлеще любого из нас, может, хлеще всех нас вместе взятых. А теперь он зациклен не на текиле, а на АА. Посещает примерно двенадцать собраний в неделю, он ГСР.., не спрашивай, что это значит — какой-то политический пост в обществе, — и он сидит на телефоне доверия. И каждый год он ездит на Национальную конференцию. Лет пять назад алкаши собрались в Сан-Диего. Пятьдесят тысяч алкашей стоят плечо к плечу в Конференц-центре Сан-Диего и возносят благодарственную молитву. Можешь себе представить?

— Могу, пожалуй, — сказал Салл.

— Говнюк Браннинген взглянул налево, и кого же он видит, как не Ронни Мейлфанта. Глазам своим не верит, но тем не менее это Мейлфант. После заседания он зацапывает Мейлфанта, и они отправляются посидеть за стаканчиком. — Диффенбейкер запнулся. — Алкоголики ведь тоже любят посидеть, по-моему. Лимонады всякие, кока-кола и прочее. И Мейлфант сообщает Ежику, что он уже почти два года чист и трезв как стеклышко — открыл для себя высшую силу, которую ему благоугодно величать Богом. Ему было дано возродиться, все в хреновом ажуре, он ведет жизнь по законам жизни, он уповает, а Бог располагает, ну, и прочее дерьмо в их духе. Браннинген не сумел удержаться и спросил, а поднялся ли Мейлфант на Пятую Ступень, а это значит исповедаться во всех своих нехороших поступках с полной готовностью искупить их. Мейлфант и глазом не моргнул, а сказал, что на Пятую поднялся год назад и чувствует себя куда лучше.

— О, черт! — сказал Салл, поражаясь жгучести своего гнева. — Старушка мамасан, конечно, возрадуется, что Ронни и от этого очистился. Обязательно скажу ей, когда увижу в следующий раз.

Конечно, он не знал, что увидит ее в тот же день.

— Смотри не забудь.

Они еще посидели, почти не разговаривая. Салл попросил у Диффенбейкера еще сигаретку, и Диффенбейкер протянул ему пачку и снова щелкнул «Зиппо». Из-за угла донеслись обрывки разговоров и чей-то тихий смешок. Похороны Пейга завершились. А где-то в Калифорнии Ронни Мейлфант, возможно, читает Большую Книгу своих АА и вступает в контакт с мифической высшей силой, которую изволит называть Богом. Может, и Ронни тоже ГСР, что бы это, хрен, ни означало. Салл жалел, что Ронни жив. Салл жалел, что Ронни Мейлфант не издох во вьетконговской яме-ловушке: нос в язвах, вонь крысиного дерьма, внутреннее кровотечение, его рвет слизистой желудка. Мейлфант с его футлярчиком и его картами. Мейлфант с его штыком. Мейлфант с его ногами по бокам старенькой мамасан в зеленых штанах, оранжевой кофте, красных туфлях.

— А вообще, для чего мы были во Вьетнаме? — спросил Салл. — Без всяких философствований и прочего, но ты для себя это хоть раз вычислил?

— Кто сказал: «Тот, кто не учится у прошлого, осужден на то, чтобы повторить это прошлое»?

— Ричард Доусон, ведущий «Семейной вражды».

— Иди ты на... Салливан.

— Не знаю, кто сказал. А это важно?

— Еще как, бля, — сказал Диффенбейкер. — Потому что мы так оттуда и не выбрались. Так и не выбрались из зелени. Наше поколение погибло в ней.

— Это звучит немножко...

— Немножко — как? Немножко напыщенно? Еще бы. Немножко глупо? Еще бы. Немножко себялюбиво? Да, сэр. Но это и есть мы. Это мы все целиком. Что мы сделали после Нама, Салл? Те из нас, кто отправился туда, те из нас, кто выходил на марши протеста, те из нас, кто просто высиживал дома, смотрел «Далласских ковбоев», попивал пиво и пердел в подушки дивана?

Щеки нового лейтенанта начали краснеть. Он выглядел как человек, который оседлал своего конька и теперь взбирался в седло, поскольку ему ничего не оставалось, кроме как скакать вперед, Он поднял руки и начал разгибать пальцы, как делал Салл, когда перечислял то, что они получили от Вьетнама.

— Ну-ка поглядим. Мы поколение, которое изобрело Супербратьев Марио, Эй-Ти-Ви, лазерную систему наведения ракет и крэк из кокаина. Мы открыли Ричарда Симмонса, Скотта Пека и «Стиль Марты Стюарт». Наша идея революционного изменения образа жизни — это покупка собаки. Девушки, сжигавшие свои бюстгальтеры, теперь покупают белье «секреты Виктории», а мальчики, которые бесстрашно лезли на х.., во имя мира, теперь жирные туши, которые засиживаются у экранов своих компьютеров до поздней ночи, потягивают пиво и пыхтят, пялясь по Интернету на голых восемнадцатилетних девчонок. В этом мы все, братец: мы любим смотреть. Фильмы, видеоигры, автогонки в прямом эфире, бокс в «Шоу Джерри Спрингера», Марк Макгайр, чемпионат по борьбе, слушания по импичменту — нам все едино, лишь бы сидеть и смотреть. Но было время.., нет, не смейся, но было время, когда все действительно было в наших руках. Ты это знаешь?

Салл кивнул и подумал о Кэрол. Не о той, которая сидела на диване с ним и своей матерью, пропахшей вином, и не о той, которая поворачивала знак мира к камере, пока по щеке у нее текла кровь — эта уже была безнадежна и безумна, как можно было увидеть в ее улыбке, прочесть на плакате, вопящие слова которого отвергали всякое обсуждение. Нет, он думал о Кэрол того дня, когда ее мать взяла их всех в Сейвин-Рок. Его друг Бобби выиграл в тот день какие-то деньги у карточного мошенника, а Кэрол на пляже была в голубом купальнике, и иногда она бросала на Бобби тот взгляд.., тот взгляд, который говорил, что он ее убивает и что смерть — одна радость. Да, тогда все действительно было в их руках; он твердо это знал. Но дети теряют, у детей скользкие пальцы и дырки в карманах, и они теряют все.

— Мы набивали наши бумажники на бирже, и потели в гимнастических залах, и записывались к психологам, чтобы найти себя. Южная Америка пылает, Малайзия пылает, е... ный ВЬЕТНАМ пылает, но мы наконец-то оставили позади самоненависть, наконец-то понравились сами себе, так что пусть они пылают на здоровье.

Салл представил, как Мейлфант находит себя, как ему нравится внутренний Ронни, и подавил содрогание.

Теперь перед лицом Диффенбейкера топырились все его пальцы; Саллу он показался похожим на Эла Джолсона, готовящегося запеть «Мэмми». Диффенбейкер словно бы понял это одновременно с Саллом и опустил руки. Он выглядел усталым, растерянным и несчастным.

— Мне нравятся многие наши ровесники, взятые в отдельности, — сказал он. — Я не выношу и презираю мое поколение, Салл. Нам представлялся случай все изменить. Нет, правда. Но мы согласились на джинсы от модельеров, на пару билетов на Марию Карей в мюзик-холле Радио-Сити, «Титаник» Джеймса Камерона и жирное пенсионное обеспечение. Единственное поколение более или менее сравнимое с нашим по чистейшему эгоистическому самопотаканию — это так называемое «потерянное поколение» двадцатых годов, но по крайней мере у большинства из них хватило порядочности пить без просыпу. А мы оказались способными даже на это. Мы по уши в дерьме. Салл увидел, что новый лейтенант чуть не плачет. — Дифф...

— Знаешь, какова цена проданного будущего, Салл-Джон? Ты не можешь по-настоящему вырваться из прошлого. Ты не можешь по-настоящему преодолеть его. Моя идея — на самом деле ты вовсе не в Нью-Йорке. Ты в Дельте, прислоняешься к дереву, пьяный в дребезину, и втираешь в шею средство от москитов и прочей дряни. Пэкер все еще командир, потому все еще шестьдесят девятый год. А то, что тебе мерещится о твоей «жизни потом», — хреновый пузырь в кипящей кастрюле. И лучше, что так. Вьетнам лучше. Вот почему мы остаемся там.

— Ты думаешь?

— На сто процентов.

Из-за угла выглянула темноволосая кареглазая женщина в синем платье и сказала:

— Вот ты где!

Диффенбейкер встал ей навстречу, пока она медленно и изящно приближалась к ним на высоких каблуках. Салл тоже встал.

— Мэри, это Джон Салливан. Он служил со мной и Пейгом. Салл, это мой добрый друг Мэри-Тереза Чарлтон.

— Рад познакомиться, — сказал Салл и протянул руку. Ее пожатие было крепким и уверенным, длинные прохладные пальцы прижались к его пальцам, но смотрела она на Диффенбейкера.

— Миссис Пейгано хочет поговорить с тобой, милый. Хорошо?

— Разумеется, — сказал Диффенбейкер, пошел было к углу, потом обернулся к Саллу.

— Подожди немножко, — сказал он. — Пойдем выпьем. Обещаю не проповедовать. — Но при этих словах его глаза посмотрели мимо Салла, будто знали, что этого обещания он сдержать не сможет.

— Спасибо, Лейт, но мне в самом деле пора. Хочу опередить заторы.

\* \* \*

Но этого затора он не опередил, и теперь на него с неба валился рояль, сверкая на солнце и напевая про себя. Салл упал на живот и перекатился под машину. Рояль ударился об асфальт меньше чем в трех шагах от него, детонировал, и клавиши брызнули в разные стороны, будто зубы.

Салл выполз из-под машины, обжигая спину о раскаленный глушитель, и кое-как поднялся на ноги. Он поглядел вдоль шоссе на север широко раскрытыми неверящими глазами. С неба сыпалась огромная распродажа всякого барахла — магнитофоны и коврики, газонокосилка (облепленное травой лезвие вращалось под кожухом) и черный разбрызгиватель, и аквариум с плавающими в нем рыбками. Он увидел старика с театрально-пышной седой шевелюрой, бегущего по полосе торможения, но тут на старика упал лестничный марш, оторвал его левую руку и швырнул на колени. Настольные и напольные часы, письменные столы и кофейные столики, и рушащийся лифт, кабель которого разворачивался за ним в воздухе, будто вымазанная в масле пуповина. На автостоянку индустриального комплекса у шоссе спланировал косяк гроссбухов, их переплетные крышки хлопали, будто аплодируя. На бегущую женщину упало меховое манто, спутало по рукам и ногам, затем на нее грохнулся диван и расплющил. В воздухе забушевала буря света — из небесной синевы посыпались оранжерейные рамы. Статуя солдата Гражданской войны пробила фургон. Гладильная доска ударилась о перила перехода впереди и обрушилась на машину внизу, вращаясь, как пропеллер. В пикап упало чучело льва. Всюду бегали и вопили люди. Всюду виднелись машины с пробитыми крышами и разбитыми стеклами; Салл заметил «мерседес», из верхнего люка которого торчали неестественно розовые ноги витринного манекена. Воздух содрогался от воя и свиста.

На него упала новая тень, и, увертываясь, он понял, что опоздал: если это утюг, или тостер, или еще какая-нибудь хозяйственная штуковина, она раздробит ему череп. А если что-нибудь потяжелее, от него останется только мокрое пятно на асфальте.

Падающий предмет ударился об его руку, не причинив ни малейшей боли, отскочил и лег на асфальт у его ног. Он поглядел на него сначала с удивлением, а потом с нарастающим ощущением чуда.

— Мать твою, — сказал он.

Салл нагнулся и поднял бейсбольную перчатку, которая упала с неба, сразу узнав ее даже после стольких лет: глубокая бороздка вдоль последнего пальца и смешные узелки на сыромятных ремешках были неповторимы, как отпечатки пальцев. Он поглядел туда, где Бобби печатными буквами вывел свое имя. Оно было там, но буквы казались свежее, чем следовало бы, а кожа в том месте выглядела потертой, и блеклой, и поцарапанной, словно там писались другие имена, а потом стирались.

Запах перчатки совсем близко от его лица был и пьянящим, и неотразимым. Салл надел ее на руку, и что-то зашуршало под его мизинцем — лист бумаги, засунутый туда. Он не обратил на него внимания. А прижал перчатку к лицу, закрыл глаза и глубоко вдохнул. Кожа, и смазочный жир, и пот, и трава. В них каждое лето — все до единого. Лето 1960-го, например, когда он вернулся после своей недели в лагере — и все переменилось: Бобби мрачный, Кэрол какая-то далекая и бледно-задумчивая (во всяком случае, некоторое время), а клевый старикан, который жил на третьем этаже над Бобби — Тед, — уехал. Все переменилось.., но все равно было лето, ему все равно было одиннадцать, и все по-прежнему казалось...

— Вечным, — пробормотал он в перчатку и снова глубоко вдохнул ее ароматы, а поблизости о крышу хлебного фургона разбился стеклянный ящик с бабочками, и стоп-сигнал вонзился, дрожа, в полосу торможения, точно метко брошенное копье. Салл вспомнил свой бо-ло и черные кеды, и вкус драже из пистолетика, когда шарик ударялся о небо и отлетал на язык; он вспомнил ощущение от бейсбольной маски, когда она прилегала к лицу так, как требовалось, и «хиша-хиша-хиша» разбрызгивателей вдоль Броуд-стрит, и как бесилась миссис Конлан, когда ты оказывался слишком близко к ее драгоценным цветам, и миссис Годлоу в «Эшеровском Ампире», которая требовала предъявить метрику, если ей казалось, что тебе никак не может быть меньше двенадцати, раз ты такой высокий, и афишу с Брижит Бардо (если она — мусор, так я бы пошел в мусорщики), завернутой в полотенце, и игры с пистолетами и в «Карьеры», и пасовки, и громкое «пук!» ладонями на задней парте в четвертом классе на уроках миссис Суитсер, и...

— Эй, американ!

Только сказала она «амеликан», и Салл понял, кого он увидит, когда поднимет голову о г перчатки модели Алвина Дарка, перчатки Бобби. Старенькая мамасан стояла между верховой ракетой, которую сокрушил морозильник (из его разбитой дверцы высыпались брикеты замороженного мяса) и «субару», из крыши которого торчал металлический фламинго, предназначенный для украшения газонов. Старенькая мамасан в зеленых штанах, оранжевой кофте и красных туфлях, старенькая мамасан, яркая, как вывеска бара в аду.

— Эй, американ, ходи меня, я спасай. — И она протянула к нему руки.

Салл пошел к ней под грохочущим градом валящихся телевизоров, и домашних бассейнов, и блоков сигарет, и туфель на высоком каблуке, и под огромной-преогромной сушилкой для волос и телефоном-автоматом, который, ударившись, изрыгнул фонтан четвертаков. Он шел к ней, испытывая облегчение, то облегчение, которое испытываешь, возвращаясь домой.

— Я спасай. — Она развела руки. — Бедный мальчик, я спасай.

Салл шагнул в мертвое кольцо ее объятия, а люди вопили и бегали, и с неба сыпались всякие-превсякие американские вещи, слепя шоссе №1–95 к северу от Бриджпорта своим падающим сверканием. Она обняла его.

— Я спасай, — сказала она, и Салл сидел в своем «шевроле». Всюду вокруг него на всех четырех полосах стояли замершие машины. Радио было включено, настроено на WKND. «Плэттеры» пели «Время сумерек», а Салл не мог вздохнуть. Словно бы с неба ничего не падало и, если не считать затора, все словно было в полном порядке, но как же так? Как же так, если на его руке все еще надета старая бейсбольная перчатка Бобби Гарфилда?

— Я спасай, — говорила старенькая мамасан. — Бедный мальчик, бедный американский мальчик, я спасай.

Салл не мог вздохнуть. Он хотел улыбнуться ей. Он хотел сказать ей, что он сожалеет, что хотя бы у некоторых из них намерения были самые хорошие, но ему не хватало воздуха, и он очень устал. Он закрыл глаза, попытался в последний, заключительный раз поднести перчатку Бобби к лицу, в последний, заключительный раз чуть-чуть вдохнуть этот густой летний запах, но она была слишком тяжелой.

На следующее утро, когда Диффенбейкер в одних джинсах стоял у кухонного стола и наливал себе кофе, в кухню вошла Мэри. На ней была ее трикотажная фуфайка с «СОБСТВЕННОСТЬ ДЭНВЕРСКИХ БРОНКО» поперек груди; она держала нью-йоркский «Пост».

— Боюсь, у меня для тебя грустное известие, — сказала она, а потом словно бы уточнила:

— Относительно грустное.

Он настороженно обернулся к ней. О грустных известиях следует сообщать после обеда, подумал он. После обеда человек более или менее готов к грустным известиям. А прямо с утра что угодно ранит слишком больно.

— Какое?

— Тот человек, с которым ты познакомил меня вчера на похоронах вашего друга, ты же сказал, что он торгует машинами в Коннектикуте, верно?

— Верно.

— Я хотела проверить, потому что Джон Салливан не самое, ты понимаешь, необычное и редкое...

— О чем ты, Мэри?

Она протянула газету, развернутую на середине вкладки.

— Тут сказано, это случилось, когда он возвращался домой. Мне очень жаль, милый.

Конечно, она ошиблась! Это была его первая мысль. Люди не умирают сразу после того, как ты видел их, говорил с ними — вроде бы незыблемое правило.

Но это был он, да еще в трех экземплярах: Салл в школьной бейсбольной форме со сдвинутой на лоб маской, Салл в полевой форме с сержантскими нашивками на рукаве и Салл в солидном костюме где-то конца семидесятых. Под тремя фото располагался заголовок, который можно найти только в «Пост».

ЗАТОР!

ВЬЕТНАМСКИЙ ВЕТЕРАН, КАВАЛЕР СЕРЕБРЯНОЙ ЗВЕЗДЫ УМИРАЕТ В ЗАТОРЕ НА КОННЕКТИКУТСКОМ ШОССЕ

Диффенбейкер быстро прочел заметку, ощущая тревогу, ощущая, что его предали, — чувство, которое теперь неизменно охватывало его, когда он читал сообщение о смерти кого-то одного с ним возраста, кого-то знакомого. «Мы все еще слишком молоды, чтобы умирать», — всегда думал он, вполне сознавая глупость этой мысли.

Салл, видимо, умер от сердечного приступа, застряв в заторе, возникшем из-за развернувшегося поперек шоссе автопоезда. Не исключено, что он умер в виду вывески его собственного салона «Шевроле», скорбел автор заметки. Как и «ЗАТОР!», вынесенное в заголовок, подобные прозрения можно было найти только в «Пост». «Тайме» — вот газета для умных, а «Пост» — газета для пьяниц и поэтов.

После Салла осталась бывшая жена, детей у него не было. Похоронами занимается Норман Оливер («Ферст Коннектикут Бэнк энд Траст»).

«Его хоронит банк!» — подумал Диффенбейкер, у него затряслись руки. Он не понимал, почему эта мысль вызвала у него такой ужас. Но вызвала. «е... ный банк! О, черт!»

— Милый? — Мэри глядела на него чуть нервно. — Тебе нехорошо?

— Нет, — сказал он. — Он умер в заторе на шоссе. Возможно, «скорая» не могла до него добраться. Может, его обнаружили только, когда движение возобновилось. Господи.

— Не надо, — сказала она и забрала у него газету. Серебряную Звезду Салл, конечно, получил за спасение — спасение вертолетчиков. Косоглазые стреляли, но Пэкер и Ширмен все равно повели туда американских солдат, в основном из Дельты два-два. Десять — двенадцать солдат из батальона Браво обеспечивали не слишком согласованное и, вероятно, не очень эффективное огневое прикрытие операции спасения... и на удивление двое пилотов со столкнувшихся вертолетов оказались живы — во всяком случае, были живы, когда их унесли с поляны. Джон Салливан в одиночку донес своего до укрытия, а вертолетчик кричал у него на руках, весь в пене из огнетушителя.

Мейлфант тоже выбежал на поляну — Мейлфант держал огнетушитель, будто большого красного младенца, и орал вьетконговцам в зарослях застрелить его, если смогут, — да только не смогут, он знает, что не смогут, они же просто хрены хреновы, сифилитики, им в него не попасть, они и по сараю промажут. Мейлфанта также представили к Серебряной Звезде, и хотя наверное Диффенбейкер не знал, но не исключал, что прыщавый мудак-убийца ее получил. А Салл знал про это или догадывался? Но ведь он бы, наверное, что-нибудь сказал, пока они сидели у стены похоронного салона? Может, да, а может, нет. Со временем ордена и медали утрачивали значение, все больше и больше уподоблялись призу, который ты получил в начальной школе за выученное стихотворение, или грамоте, которую ты получил в старшем классе за победоносный бросок на бейсбольном поле. Просто что-то, что ты хранишь на полке. Просто цацки, с помощью которых старики разжигали ребят. Цацки, которыми они соблазняли тебя прыгать выше, бегать быстрее, бросаться наперехват. Диффенбейкер подумал, что без стариков мир, вероятно, был бы лучше (это озарение снизошло на него, когда он сам готовился стать стариком). А вот старухи пусть живут. Старухи, как правило, никому вреда не причиняют, но старики опаснее бешеных собак. Перестрелять их всех, потом облить трупы бензином, потом поджечь их. Пусть дети возьмутся за руки и будут водить хоровод вокруг бушующего пламени, распевая старые соленые песни Кросби и Нэша.

— Ты правда ничего? — спросила Мэри.

— Ты про Салла? Конечно. Я же его много лет не видел. Он прихлебывал кофе и думал о старушке в красных туфлях, той, которую убил Мейлфант, той, которая навещала Салла. Больше она Салла навещать не будет. Хотя бы что-то. Для старушки мамасан дням посещений пришел конец. Наверное, войны по-настоящему кончаются именно так — не за столами переговоров, а в раковых палатах, учрежденческих кафетериях и заторах на шоссе. Войны умирают по клочочку, по клочочку, и каждый клочочек — что-то угасающее, как память, и каждый теряется вдали, как отзвуки эха в лабиринте холмов. В конце даже война выкидывает белый флаг. То есть так он надеялся. Он надеялся, что в конце даже война капитулирует.